

Теффи

ЖИЗНЬ И ВОРОТНИК

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещь втрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие — ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

— Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытасканные из Олечкиного стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была? Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

— Где была? Со студентом болталась! Честный муж пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почему знаю, — отвечу я. — Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

Теффи

ВЫСЛУЖИЛСЯ

У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.

Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протезировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.

Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего.

Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.

— Я с самого начала поняла, что он растяпа, — пела сдобным голосом кухарка.
— Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не

делай, а на глазах держись. Потому — Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала — в печке не помешал и с головешкой закрыл.

Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как золова арфа:

— Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал...

— Не иначе как домой отослать.

— Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!

Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.

— Так ведь выть-то еще рано, — снова поет кухарка. — Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила... А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адепт, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.

— Ну, дай ему Бог...

— А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно...

— А и Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа — на мальчишку ябеду пущать...

— Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», — ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар...

— Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пито, не...

— Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду...

Трррр... — затрещал электрический звонок.

— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка. — Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.

Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.

«Нет, дудки, — думал Лешка, — в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».

И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.

«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».

Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит — жилец дома.

Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.

Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.

«Я парень не дурак, — думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. — Я те глаза намозолю. Я те не дармоед — я все при деле, все при деле!..»

Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостынины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.

— Вот, — сказал он с упреком, — наследили! А потом хозяйка меня ругать будет. Гостыя вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.

— Ладно, ладно, иди уж, — смущенно успокаивал тот.

И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.

Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.

«Ишь, устались, — подумал Лешка, — должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»

И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.

— Ты чего? — испугался тот.

— Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...

— Пошел вон! Идиот!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.

— Поймет... — расслышал Лешка, — прислуга...сплетни...

У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:

— Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете...

Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.

Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирасть двери, и, вернувшись, открыл ее.

Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.

«Чудак, — думал Лешка, уходя. — В комнате светло, а он пугается!»

Лешка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.

— Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкаф запирает.

Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.

Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был набоку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:

«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».

Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку.

Тихий полустон-полувздых был ему ответом.

Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.

— Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.

Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая...

«Кошка! — сообразил он. — Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»

Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.

— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..

На жильце лица не было.

— Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он. — Кого ты ругаешь?

— Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, — старался Лешка. — Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..

Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.

— Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, — испуганно и смущенно шептала она.

— Брысь, проклятая! — и Лешка, наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.

— Господи, — взмолился жилец, — да уйдешь ли ты отсюда наконец?

— Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчера в гостиной под портьерой...

И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.

Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.

— Я парень смысленный, — шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. — Смысленный и работяга. Пойду теперь печку закрывать.

На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит...

«Что он там делает? — удивился Лешка. — Словно пуговицу на ейном башмаке жует! Не... видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу...»

Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.

Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.

— Ничего там нету.

— Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.

— Я думал, обронили что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит... Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла, — обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые.

— Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка, — вот и брошке, стало быть, конец...

— Так это правда! — странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. — Так это правда! правда!

— Ей-Богу, правда, — успокаивал ее Лешка. — Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей-Богу, как собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.

Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:

— Завтра косому черту крышка.

— Ну-у! — радостно удивилась та. — Рази что говорили?

— Уж коли я говорю, стало, знаю.

На другой день Лешку выгнали.

ДАРОВОЙ КОНЬ

Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? — думал он. — Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Друзья посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут, — скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Денег выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.

— Чудесный у вас конь, Николай Иванович, — сказал соседний лавочник. — Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча.

— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверять опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать. Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

— Не свели еще, лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

— Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?

— Она еще не обьезжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в каком случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, — говорит, — от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

— Не понимаю, как может человек, при известном недостатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой.

— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

— А какие?

— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

— Я, — говорит, — такой аппарат поставлю, что, как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю.

Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

— Ска-тина! — крикнул Уткин. — Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку. — Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порой трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.

— Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цела? — почти в ужасе крикнул Уткин.

— А что ей делается.

— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

— А ей-Богу, барин! Вы не пугайтесь, конек ваш целехонек. Усё сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

ПУТЕШЕСТВИЕ

Тяжело порою быть русским человеком. Вот мне, например, очень хотелось бы писать «Письма издалека». А нельзя. И не потому нельзя, что я не далеко заехала, а потому, что русскому человеку ближе чем какую-нибудь северо-западную Зеландию и описывать неприлично.

Немцы — другое дело. Если немец проедет полчаса по железной дороге, то он уже считает, что сделал «eine Reise», «eine schone Reise»[1], и может потом описывать

приключения этого путешествия многие годы, вызывая завистливые восклицания у восхищенных слушателей.

Сам, блаженной памяти, Генрих Гейне, пройдя пешком что-то верст восемнадцать из одного города в другой, пережил лиризма и сатиризма на сто двадцать страниц убористой печати.

Все зависит от восприимчивости путешествующего лица. Уверяю вас.

Иной сибиряк сделает полторы тысячи верст, завернувшись в шубу, и носа не выставит на свет Божий. Да и нельзя. От сибирского мороза нос может треснуть, как грецкий орех под каблуком.

Ну вот спросите такого сибиряка, что он вынес из своего путешествия. Скажет одно:

— Вся эта полоса России пахнет собакой, крашенной под енота.

Потому что воспринял только свой собственный воротник.

Настоящий, толковый путешественник должен прежде всего любопытствовать. На каждой остановке спрашивать, что за станция и сколько, примерно, от нее верст до Богородска.

Если на платформе девочка продает грибы, подзовите и спросите, что это такое. Хоть и сами видите, а все-таки спросите. Потому что путешествующий должен любопытствовать. Потом справьтесь о цене. Скажите, что лучше бы ей было продавать малину. А если ответит, что малины уж нет, то посоветуйте лучше снова дожждаться ее и завести выгодную торговлю, чем растрачивать молодые силы на грибы.

Если поезд стоит долго, спросите у кондуктора, где жандарм, а у жандарма — где начальник станции, а у начальника станции — где буфет. Таким образом, вы будете все знать из первых рук.

У пассажиров — с благородством, но настойчиво выпытывайте, куда, зачем и откуда они едут, сколько, примерно, в их городе жителей и далеко ли от них до Богородска.

Этот последний вопрос всегда неотразимо действует, в особенности на иностранцев. Они начинают относиться к вам необычайно внимательно и иногда даже, забрав всю поклажу, уходят в соседний вагон, чтобы предоставить вам покой и место.

Кроме того, узнавайте все время, как кого зовут и у кого что болит; у дам спрашивайте, не вредно ли им сидеть спиной к движению, у стариков — не дует ли на них из вентилятора. Разузнав все подробно, вы, отъехав на двенадцать верст от места своего жительства, имеете уже полное право послать родным и знакомым «Письма издалека».

Теперь поговорим о настоящем, серьезном путешествии.

Прежде всего, куда бы вы ни ехали, хоть в Тибет, границу непременно переезжайте в Эйдкунене, иначе никогда не почувствуете себя на границе. Это уже дознано и признано.

Если хотите быть стереотипным, то, переезжая пограничную речонку, выгляните в окошко и высуньте язык.

Я лично этого не делаю, потому что, по-моему, это вовсе не так уж важно. Но многие считают это священным ритуалом. Не нами, мол, заведено, не нами и кончится. Ну и пусть себе.

Самый важный момент ваших пограничных переживаний, это — предъявление немецкого билета немецкому сторожу на платформе Эйдкунена. Поднимите глаза и взгляните на него. У него нос цвета голубинового крыла, с пурпурными разводами и мелким синим крапом. Тут вы сразу поймете, что все для вас кончено, что родина от вас отрезана и что вы одиноки и на чужбине.

Лезьте скорее в вагон и пишите открытки.

Если судьба занесет вас в Берлин (а она обыкновенно проделывает это с людьми, едущими через Эйдкунен), не забудьте во что бы то ни стало пойти к придворному парикмахеру Гансу Хаби, распушившему усы императору Вильгельму. Это вам обойдется рублей в шестнадцать, но за то вы узнаете кое-что.

Хаби посадит вас на стул и спросит, что вам угодно. Узнав, что вы хотите остричься, он загадочно улыбнется и наденет на вас намордник. Вы будете мычать и отбиваться, но крепко скрученная простыня не даст вам ни подняться, ни высвободить руки.

А Хаби начнет говорить о том, что все счастье вашей жизни в распушенных усах и что Вильгельм только потому и Вильгельм, что он, Хаби, надел на него свой намордник.

Говоря это, он будет поливать вам голову всякой гадостью собственного изобретения.

— Вы, конечно, разрешите коснуться вас слегка вот этим фиксатуаром? — поет он.

— Мм... не хочу! — мычите вы.

— Итак, с вашего разрешения!

И он снова мажет вас и, глумясь, хвалит за культурное отношение к парикмахерскому делу.

Но все на свете кончается. И Хаби, сняв с вас намордник, подставляет вам зеркало, из которого глядит на вас белый тигр с печальными человеческими глазами и намавленной лысиной.

— Тридцать марок!

— Что-о?

— Этот инструмент я распечатал специально для вас. Эту мазь — тоже. Ведро этой жидкости откупорено ради вас, — теперь она все равно выдохнется. А вот эту щеточку — она стоит не менее пятидесяти пфеннигов, уверяю вас, — вы можете взять себе.

Не забудьте же побывать у придворного парикмахера. Вы, по крайней мере, сразу поймете, почему императору Вильгельму пришлось расширить цивильный лист. Бедняге не хватало денег, чтобы как следует «sich rasieren»[2].

Еще советую вам обратить внимание на берлинских извозчиков, которые за последние годы невесть что забрали себе в голову. Они считают себя равноправными

гражданами с шоферами и с трамвайными вожатыми. Лезут всюду, и некому их осадить и поставить на место.

Ни разу не довелось мне слышать, чтобы кто-нибудь дал им краткое, но меткое определение, которое так хорошо действует на извозчичью душу:

— Гужеед желтоглазый!

Конечно, они по-русски не поймут, но ведь можно же перевести. Не Бог весть какая трудность. Скажите:

— Du Rimenesser! Gelbauge![3]

Не знаю в точности, как по-немецки гужи. Ну, да вы это от него же и узнать можете.

Прямо спросите:

— Любезный извозчик! Как называется та часть упряжи, которую вы кушаете?

Он, конечно, не замедлит удовлетворить ваше законное любопытство. А вы воспользуетесь этим и сразу поставите его на место.

Ах, если относиться к своей задаче серьезно, то сколько полезного и для себя и для других можно извлечь из самого маленького путешествия.

Но много ли нас, серьезных-то людей!

[1] Путешествие, прекрасное путешествие (нем.).

[2] Побриться (нем.).

[3] Ременеед! Желтые глаза! (нем.)